УДК 82.0

О «ТОЧНОЙ» МЕТОДОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОИСКОВ

© Р.Ф.Бекметов

Статья посвящена выяснению статуса «точной» методологии в современном литературоведении, а также перспективам ее обновления в конкретных исследовательских проектах. Констатируется кризис «точных» программ в сфере теоретико-литературного дискурса; устанавливаются пути преодоления этого кризиса через четкое разделение учебных и научных задач; проводится мысль, в соответствии с которой сам контекст дискуссии о «точности» в филологии имеет глубокие исторические и мировоззренческие корни. Отмечается крайняя сложность вопроса о конвергенции литературоведческих методов. Автор статьи полагает, что сближение «разноприродных» методов не может происходить в режиме простой эклектичности. Необходимость обнаружения «конвергентных точек» придает литературоведческой методологии черты драматичности.

Ключевые слова: филология, литературоведение, «точная» методология, структурализм, «неточная» парадигма, конвергенция.

Вопрос о содержании и границах «точной» методологии неоднократно становился предметом оживленной дискуссии в среде отечественных филологов – специалистов разных отраслей литературоведческого и лингвистического знания. Возникновение этого вопроса было связано с процессом интенсивного внедрения в общегуманитарную сферу познания методов математической статистики. По сложившемуся мнению, полемика об исследовательской точности велась у нас в 1950 – 70-е гг., хотя отдельные суждения о важности «точного» подхода к художественным явлениям встречались задолго до того.

Обозревая историю «точной» методологии в России, резонно, пожалуй, говорить о двух основных точках зрения на объем основополагающего понятия.

Для одних исследователей, занимавшихся проблемами стиховедения, точность литературного факта целиком проистекала из возможности его прямой количественной оценки. При этом условием подсчета служил критерий формализованности материала, который в различных областях литературоведческой науки принимал собственную конфигурацию. Ясно, что урегулированная длительной традицией метрико-ритмическая структура стиха поддается большей типологизации и числовому анализу, чем, скажем, образно-мотивная система, в значительной мере ориентированная на индивидуальную трансформацию, даже в пределах общего поэтического канона.

Для других исследователей точность, напротив, имела весьма специфический статус, не всегда отождествляясь с данными математической теории, хотя ведущая роль математики в формировании самого представления о точности здесь не оспаривалась. Подобный взгляд разделяли, в частности, текстологи, для которых точность нередко сводилась к точности хронологической атрибуции памятников письменной литературы по ряду маркированных лексических и стилистических признаков.

Наиболее последовательно эту позицию артикулировал Д.С.Лихачев, для которого феномен точности был не настолько очевидным, чтобы механически переносить его на литературно-художественное произведение [1: 449-468]. Логика размышлений Д.С.Лихачева была проста. Во-первых, среди точных наук существуют такие, которые с точностью как категорией исчислительно-рационального дискурса связаны опосредованно. При внимательном изучении проблемы можно обнаружить, что точность – явление относительное, ибо выводы многих наук носят гипотетический характер, а точность им приписывается в расхожем социальном употреблении. Кроме того, математика на самых высших уровнях не так точна, как принято думать; зачастую она моделирует системами с вероятностной степенью объективации. Во-вторых, близкие к точным науки при описании эволюционных процессов активно используют исторический подход; его гуманитарная составляющая, в свою очередь, не вызывает сомнений. В-третьих, точность научного познания во многих случаях противопоставляется образности литературного творчества; между тем любая точная наука, как ни парадоксально, прибегает к образам, выстраивая определенную модель объективной закономерности. Модель и есть образ, структурирующий действительность. В итоге все это дает повод считать, что формализованная при обычном подходе точность имеет множество допущений; следовательно, рассматривать ее в качестве

всеобъемлющего, универсального метода науки нельзя. Литературоведение, поясняет Д.С.Лихачев, обладает духовно-этическим «фундаментом», умноженным на эстетическую восприимчивость. Последнее качество стимулирует внимание литературоведов к конкретным исследованиям, в которых детальность освещения темы соседствует с непредвзятостью приводимых аргументов. Пафос борьбы за конкретное литературоведение и определяет позицию Д.С.Лихачева в сущностном отношении.

Аналогичное мнение имел С.С.Аверинцев, утверждавший, что филология – не точная, а строгая наука. Строгость филологии состоит «не в искусственной точности математизированного аппарата, а в нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания» [2: 99]. Задача литературоведа – осмыслить опыт творческой индивидуальности с иным кругозором мировосприятия. Вместе с тем осмысление чужой личности должно происходить без попыток превращения ее в безгласную вещь или в простое отражение собственных эмоций. Филология, по С.С.Аверинцеву, не может стать точной. Чтобы соблюсти строгость, филологу надлежит идти «серединным путем», привлекая «точные» методы во вспомогательных разделах и контролируя субъективное волеизъявление – в основных.

В несколько ином тоне высказывался об этом П.В.Палиевский [3: 5-71]. Справедливо полагая, что проводником «точной» методологии в литературоведении служит структурализм (еще раньше – формальная школа), он объяснял, почему точность не может стать определяющим понятием литературной теории. Дело в том, что характер литературоведческих исканий целиком детерминируется их объектом, художественным образом, в котором всегда остается нечто невыразимое, требующее признания своей независимости. Образ – глубинная величина, и какие бы изощренно-тонкие процедуры анализа не использовались, они не могут дать исчерпывающего представления о процессах, обеспечивающих образу историческое существование. Обращение к «точной» методологии П.В.Палиевский считает проявлением филологического малодушия, детерминированного тем фактом, что за две тысячи лет в литературоведении не установилось четкого терминологического аппарата, а тот, что имеется, расплывчат, изобилуя множественными прочтениями. Оперирование «цифровым ритуалом» в подобных условиях кажется едва ли единственным выходом из научного тупика. Структурализм, по мнению П.В.Палиевского, обнаруживает в литературе феномены периферийного ряда и строит на этом основании посторонние схемы. Возникающая в процессе упрощения ясность оказывается мнимой, ибо она отсекает в образе все лишнее и образ утрачивает цельность. Ставя во главу угла точность, структурализм эклектично сочетает программы различных наук, подчиняя их «плоскотрафаретным нормам» [3: 66]. Они становятся предметами поклонения, своего рода фетишами, в жертву которым приносится живой литературный организм [3: 67]. Нельзя думать, будто бы П.В.Палиевский отказывает «алгебре поверять гармонию». Суть его рассуждений сводится к необходимости поиска баланса, при котором одна крайность, связанная с математизированным пониманием научного поиска, не вытесняла бы другую, направленную на эмоциональное истолкование литературно-эстетических явлений. В отношениях между наукой и литературой должна существовать мера, пусть неустойчивая, динамичная, тяготеющая к переходам, но не вычисляемая по ячейкам статистических таблиц. Только в такой диалектике стратегий литературный объект способен сохраняться как крупная и целостная система.

Следует сказать, что критика «точной» методологии, звучавшая в устах авторитетных исследователей, не была беспочвенной. Не всегда она проистекала из консервативных соображений, хотя на официально-административном уровне структурализм встречал много возражений, резких и необоснованных[1]. В самом деле, становление любого метода в гуманитаристике сопровождается на определенном этапе всплеском огромного внимания к нему. В отдельных случаях этому вниманию способствует «эзотеричность» метаязыка, притом в иных обстоятельствах именно закрытость и непонятность рационалистического языка может служить причиной для априорно негативной оценки нового направления. Рецепция научных достижений, как известно, лежит в плоскости социальной психологии, текущих общественных запросов, оценок, даже вкусов, и неотде-

[1] Эта критика явственно слышится до сих пор, причем в трудах, написанных теми, кто когда-то активно участвовал в строительстве «храма» структуралистской методологии. Так, В.М.Живов [4], отмечая приоритет социокультурного контекста в формировании новой парадигмы, пишет о ее нацеленности на эмпирическое изучение литературы при полной глухоте к проблемам философского толка. Отбор авторов для систематического освещения был произвольным; создавалось впечатление о некоторой предвзятости структуралистов, готовых признавать те художественные явления, которые доказывали правоту их метода, и отвергать те, которые не вписывались в прокрустово ложе заданной научной программы.

лима от них. Отечественный структурализм формировался в эпоху смутно ощущаемой потребности внести в реальность новые ценностно окрашенные значения. В этом плане он нес на себе, вопреки артикулированным установкам, груз противостояния официальной идеологической доктрине; это противостояние осуществлялось то в качестве возврата к «чистому» марксизму (в варианте лотмановской семиотической школы), то в качестве пассивного протеста, ухода от социальной и политической злободневности (в версии первых структурных лингвистов). Это, однако, не означает, что серьезная, неконъюнктурная критика «точных» идей, плохо вписывавшаяся в очередной тренд социального заказа, была лишена позитивного смысла, нацеленности на нее.

Оспаривать приведенные доводы трудно. Более того, к сказанному можно добавить и то, что понятие «объективности», соотнесенное с «точностью», в той же мере условно и зависит от характера вопросов, обращаемых исследователем к наблюдаемым фактам. Надо ли говорить о том, что интерес к «точности» детерминируется национальной картиной мира, набором цивилизационных универсалий, типом культурного мышления? Нет единой и окончательной точности. Так, в древнегреческой математике точность связывалась с идеальным совершенством геометрических фигур. Любая абстрактность показалась бы греку неприемлемой, тождественной той бесконечности, которую он презирал и боялся, сомневаясь в том, что ее можно воплотить в наглядной форме. Вспомним, что в философии Платона созерцательная отвлеченность мира идей облекалась в фигуративность зримых объектов. Общеизвестно, что греческое слово «идея» в буквальном переводе означает «то, что видно». С другой стороны, синонимия «точности» и жесткой «абстрактности» возникла благодаря средневековым схоластическим штудиям. Только средневековая арабская теология могла породить алгебру, а значит и принципиально оторванный от жизненных реалий мир игриво-тонкой, изящно-формульной рефлексии. Примеры такого рода можно с легкостью умножать, все они свидетельствуют о наличии прочной культурно-исторической почвы в тех явлениях, которые мы по инерции относим к числу свойственных всем народам и во все времена. Попробуем, признавая некоторую правоту сторонников «конкретной и строгой» филологии, взглянуть на проблему точности в свете нынешнего дня, с учетом современного состояния литературоведческой науки.

Конечно, «точная» методология сейчас не признана. За минувшие два десятилетия исчезли любые упования на возрождение семиотического проекта, в пределах которого точность могла как-то реализовать себя. Если раньше обращение к ней мотивировалось «комплексом неполноценности» гуманитарного познания перед «точной» наукой, то теперь необращение к ней вызвано чувством утраты ориентиров развития. Возникла внутренняя усталость от научности и классического разума. Это ощущение утвердило в правах примат субъективной свободы, которая литературоведу нужна, но только как средство, а не самоцель. Отсюда тенденция литературоведческих исследований приобрела черты если не кризиса, то некоторой переходности: устойчивые парадигмы прошлого остались, а контуры нового скачка не просматриваются. Думается, что сегодня, в зыбкой атмосфере интеллектуального «самоанализа», продуктивнее было бы сохранить потенциал «точной» методологии – и не просто оставить в поле актуального интереса, а воскресить живой нерв «точной» стратегии, ее ориентацию на «научность вместо наукообразности». Мы нуждаемся в этом, вопреки логически безупречным аргументам, заявленным, к слову, в особом социально-историческом контексте, с иными взглядами на существующее и необходимое. В рамках целостных исследований сделать это не всегда возможно. Одна из причин – исчерпанность содержания «точных» идей применительно к стихосложению. Сейчас трудно открыть законы ритма или строфической композиции, о которых не говорили бы раньше. Заявленный в 1920-е гг. обширный план Б.И.Ярхо по созданию «точных» справочников во всех отраслях литературоведения остается грандиозной и пока невыполнимой задачей, требующей наличия как минимум организационных структур, как максимум – обновленного философского обоснования притязаний науки на господство в системе человеческого знания. Кроме того, нужно помнить, что вопрос о «валентном» потенциале «точной» методологии, точках соприкосновения с другими программами, провозглашающими неструктурные принципы описания художественной действительности, остается дискуссионным. Поэтому единственным местом, обеспечивающим консервацию «точных» приемов, должен стать университет в широком смысле, как важная часть образовательного и коммуникативного пространства с собственной логикой развития. Именно здесь теория может объяснить правомерность «точных» установок, демонстрируя прикладной характер целеполагания и открывая альтернативу той страсти к потребительскому «чтиву», наличие которой поддается наблюдению. В «точной» методологии можно видеть очертания «мобилизационного» проекта, противостоящего рыхлости субъективных блужданий и не нарушающего плюрализма литературоведческих мнений, лишь проверяющего их (проверяющего, в

числе прочего, и на логическую стройность). Целесообразно оговаривать на всех этапах освоения, что «точная» идея не воплощается только в числовом виде или перечне таблиц. Она отражает дух системной последовательности в актах мысли и служит средством для уточнения первичных впечатлений, часто выдаваемых читателем за окончательную истину о тексте. «Точная» методология – способ проблематизации импрессионистических суждений. Университет нуждается в «точном» литературоведении! Речь идет не столько об освещении «точной» методологии в рамках учебного курса, сколько о реабилитации самого фона, атмосферы «точных» поисков. Призывом к «нравственно-интеллектуальному усилию, преодолевающему произвол», уже не обойтись: любая воля сильна не декларативностью высоких намерений, а образцовостью их исполнения. «Точная» методология сегодня способна реализовать интенцию труда и дисциплины в точечных филологических инициативах. Литературоведение нуждается в работниках, в ответственном хозяйствовании на небольших наделах литературной земли. Как показывает практика, скрытый и напряженный запрос на это существует[2].

Насущная значимость «точного» познания проявляется в том, что она дает нормативный вектор решения вопросов, традиционно относимых к спекулятивному литературоведению. «Точный» поиск открывает путь к изучению законов подсознательной психологии человека: та же статистика отклонения ударений в стихах образует неповторимый «ритмический портрет» поэта [6: 142]. Закономерно, что А.Н.Колмогоров – один из пионеров «точной» методологии в советском литературоведении – первоначально рассматривал поэтический текст как «объект учения о высшей нервной деятельности» [6: 148]. Далее, язык художественности на структурном уровне иногда подчиняется таким правилам, что описать их, не прибегая к помощи элементарного логико-математического аппарата, затруднительно [6: 145-148]. В сравнительном анализе литературных переводов без точности не обойтись. При анализе произведения в комплексном аспекте правомерно использовать метод картографической аппроксимации, а он в своей основе – «точный» [7]. Все это требует разъяснений, дабы не создавалось ложного представления о формах репрезентации «точного» подхода. В конкретном преломлении он – гуманитарный. Этот тезис согласуется с тем положением, что математика, попадая в поле конкретных наук, испытывает на себе их возмущающее влияние; если так, значит, диалог здесь обоюдный.

«Точная» методология в конечном счете полезна и в количественной части, если она следует за качественной постановкой проблемы, а не иначе[3]. В такой точке отсчета элементы «точно-

[2] Показательно, что на одном из «круглых столов», регулярно проводимых редакцией «Нового литературного обозрения», его участник метафорично, но не без доли легкой иронии назвал филологов «трудолюбивым народом-земледельцем, который вынужденно терпит над собой купечески-бюрократическую прослойку» [5]. Соглашаясь со второй частью приведенной фразы, нельзя без оговорок принять первую: на языке литературоведческой методологии это – скорее, перспективная задача, нежели реально достигнутая цель.

[3] Сошлемся на одну, до крайности простую иллюстрацию, связанную с практикой учебных занятий по теории литературы на I курсе в Казанском федеральном университете. Вчерашние школьники имеют весьма сбивчивые суждения о литературном предмете, предпочитая рассуждать о нем отвлеченно; филологическая согбенность над текстом им незнакома и даже чужда. В такой ситуации интерес к литературе целесообразно поддерживать через микронаблюдения. Разбирая пушкинского «Пророка» [8: 385], стоит задать вопрос о характере его эстетического восприятия. Обычно говорят, что стихотворение проникнуто чувством мистической торжественности и значительности происходящего, будто бы не сам Пушкин писал текст, а чья-то нечеловеческая воля руководила им. В средней школе это ощущение доказывают подбором архаизмов – правильно, но недостаточно. Предлагаем выполнить подсчет, который демонстрирует, что устаревшие слова и грамматические конструкции занимают, вопреки ожиданию, относительно малый объем ко всему составу текста – 19,7 %. Это несоответствие поначалу студентов смущает. Некоторые из них высказывают мнение, что не все архаизмы несут семантику торжественной значительности, однако прочтение слов в единичном контексте заставляет от такой мысли отказаться. Парадокс разрешается, когда мы переходим к разбору союзов. Находим, что союз «и» в 30 строках повторяется 16 раз, чуть больше половины; за ним закреплена не только интонация перечисления, но и яркая тональность библейского единоначатия. Кроме того, распределение архаизмов в тексте неоднородно. Есть строки, целиком или на три четверти состоящие из архаизмов: они группируются как сгустки, уплотнения, гетероструктуры, внезапно усиливающие ощущение присутствия высокой тайны. Добавим к этому подбор слов типа «духовная жажда», отнести которые к нейтральному стилю речи нельзя: они маркированы по признаку «поиска и обретения истины». Присовокупим осязательную предметность метафизических описаний; вертикальную организацию «внутреннего пространства»; подсознательное восприятие слов сквозь призму их историко-культурной окраски (лексема «пророк» тянет шлейф устойчивых ассоциаций) – и картина заметно усложнится. Случайности покажутся закономерными, а разрозненные вычленения и подсчеты обретут сложное, комплексное единство.

го» подхода могут наполняться гедонистическим содержанием. Производя анализ и понимая, зачем он нужен, мы переживаем то интеллектуальное и эстетическое удовольствие, о котором Р.Барт писал, что оно заключает реальную причину читательского обращения к тексту. Выкристаллизованную за последние годы в общественной среде энергию потребительского, ни к чему не обязывающего, замкнутого гедонизма можно направить на создание «точечно-плановых» локусов культуры, основанных на скромном пафосе трудового полуаскетического подвижничества – той самоорганизующейся почвы, которая способна приносить моральную радость. Нет нужды полагать, будто бы вскользь обозначенная модель карикатурно отображает советское прошлое; нет прямых предпосылок для того, чтобы рассматривать ее в качестве миниатюрного варианта очередной утопии. Ведь видно, что в предложенной схеме отсутствует патетика героических дерзновений, зачастую оборачивающихся совсем не тем, что изначально замышлялось. Акцент в ней ставится на потребности, которая полнокровно живет во всяком сознательном читателе, являясь движущим механизмом его рецептивного интереса: возможности извлечь из художественного произведения таящийся в нем смысл. Разве можно осуществить эту читательскую задачу вне «ургии» – труда с разработанной системой конкретных и рутинных навыков? Отрицательный ответ очевиден, он лежит на поверхности. И уж если проводить коррелирующие аналогии, всегда, впрочем, отличающиеся приблизительностью, то резоннее было бы говорить не о советском наследии, хотя его роль в формировании технократического культа науки велика (со всеми издержками и преимуществами). Корректнее было бы соотносить нашу модель со средневековой культурной системой, подчиняющей элементарному аскетизму все своеволия безрассудной человеческой души. В конечном счете классический новоевропейский университет – продукт немецкой протестантской этики, оберегавшей идеал праведного труда, – не мог появиться без монастырских школ как очагов книжного образования.

Отметим, что указанную историко-культурную параллель не нужно воспринимать в практическом духе, как желание воспроизвести анахроничный строй организации труда. То обстоятельство, что средневековые школы превратились в схоластические заведения, заставляет искать причину их упадка не только во внешней неблагоприятной ситуации, но и во внутреннем конфликте, «заточенном» на противоречиях между вызовами «нового дня» и устаревшими методами «ответа» на них. Мысль в другом. «Точная» методология сейчас не может существовать на положении музейного раритета, как элемент истории науки. В «большом времени» ни одна идея бесследно не пропадает. Вопреки пессимистическому выводу В.М.Живова о том, что «структурализм ушел вместе с советской эпохой» и «попытки представить его как живое течение интеллектуальной мысли бесперспективны» [4], надо все же стряхнуть с «музейного экспоната» пыль, скопившуюся за годы почтительного молчания. И для начала стоило бы отвести раннему структурализму – в нем, подчеркнем, техника «точных» исследований обрела мощного адепта – нишу, которая соответствовала бы исподволь нарастающему пониманию важности «производительного» труда (труда по «производству», «учету» и «проверке» смыслов литературного текста). «Точные» идеи могут быть востребованы в сфере учебного, университетского, говоря шире – просветительского проекта подобно тому, как механика И.Ньютона – неординарное событие в научной жизни Западной Европы XVIII столетия – перешла в разряд привычно-повседневных истин, описывающих законы природы. Возникшая в начале XX века теория А.Эйнштейна, как мы помним, вошла в конфликт с прежними знаниями об устройстве пространства и времени; это дало повод считать, будто ньютоновские представления об однородности вселенной ошибочны и от них необходимо отказаться. Однако более детальные исследования выявили несостоятельность подобных умозрений, доказав, что взгляды И.Ньютона справедливы для простой картины мира, ориентированной на непосредственную визуальность восприятия, в то время как суждения А.Эйнштейна описывают мир с иной, более широкой точки отсчета. Для физики это – достаточно тривиальная история, связанная с многомерным и устроженным пониманием действительности, благодаря чему развитие идей принимает здесь поступательную форму: один комплекс представлений отвергает другой со множеством осторожных оговорок, пытаясь понять чужую логику и не оставляя вокруг себя «выжженной земли», если только это не ангажируется мифологемами политико-идеологического администрирования. В литературоведении все обстоит не так. В ней закон преемственной связи идей реализуется, как правило, на этапе сложения научной школы. В иной ситуации мы сталкиваемся с критикой, подчас довольно жесткой (правда, если речь идет о формах ее артикуляции в «исследовательских массах»). Можно ли согласиться с таким стереотипом? Вероятно, нет. И это значит, что, отдавая дань

«точной» методологии, не следует поспешно относить ее в темные «запасники музея», как вещь, которая отслужила срок и больше не нужна…

И тем не менее, уточняя область практического применения «точных» установок, полезно задаться вопросом об их перспективах в научном плане. Примечательно, что упомянутый В.М.Живов после грустной «инвективы» пишет о «сохранении значимости результатов конкретных исследований» и необходимости «обновления концептуального контекста для того, чтобы стимулировать новые размышления и новые поиски» [4]. Проблема перспектив «точных» приемов не так проста, это очевидно. Корень сложности заключается в способе их связи с методологией, основанной на принципах, которые разрушают структуру, «децентрируют» ее и воплощают иноприродную точности стратегию литературоведческого письма. Связь «точной» методики с «неточной» остается «гордиевым узлом» современной филологии. В ближайшее время разрешить заданную дихотомию, в том числе используя принцип комплементарности, вряд ли получится. Не предлагая полновесного выхода из теоретического тупика, попробуем вкратце высказать несколько соображений о путях гипотетического «движения мысли» в попытке снять противоречия. Для удобства сгруппируем свои рассуждения в два опорных пункта («узла»).

1. Естественно, о механическом сочленении «точного» и «неточного» видов дискурса речи идти не может. «Точная» методология есть воплощение сциентистского мировоззрения, связанного с верой в могущество объективной науки. «Неточная» методология – протестная реакция на сциентизм, вызванная к жизни тем фактом, что научная парадигма часто выступает в качестве дегуманизирующего фактора культуры. Эта дилемма проходит красной нитью через современную эпоху, принимая формы ожесточенной борьбы до победного конца. В таких условиях исследователю поневоле приходится занимать одну позицию, подчиняясь логике крайностей, ибо сочетание разнополюсных программ начинает казаться искусственным изобретением, продуктом субъективной фантазии. В лучшем случае исследователь, оставляя все, как есть, обозначает познавательные границы каждого подхода, а вместе с ними – поле для деятельностной практики. Он как бы утверждает, что любой метод содержит уязвимое место, «ахиллесову пяту»; его внедрение диктуется предстоящими задачами, и то, что хорошо в одном случае, не может стать таковым – в другом. Понятно, однако, что баланс сил необходим и достичь его разделением сфер применения можно, но лишь на определенное время. Это – не решение проблемы по существу, это – попытка задвинуть болезненный вопрос в дальний ящик[4].

2. Отсюда исходно механическому сочленению двух дискурсов мы противопоставим их органическую связь, основанную на историко-культурном прецеденте. Концептуально он возник в Средние века и выразился в конвергенции рационального и иррационального знания, причем в форме союза, вышедшего из недр разделения универсума на два измерения: мирского и религиозного[5]. Именно в Средние века человек мог «удачно сочетать свои теологические изыскания с разработкой научных проблем» [11: 16]. Средневековый стиль мышления ориентировался как на божественную истину, отраженную в тексте Священного Писания, так и на разумное начало как средство ее адекватного объяснения. По удачной формулировке В.В.Миронова, «это был, с одной стороны, период рационалистического иррационализма, когда компоненты внерационального отношения к миру интерпретировали в рационалистической форме, а с другой

[4] Подобный опыт в XX веке уже существовал. Мы имеем в виду редко упоминаемую отечественными структуралистами мысль Р.Якобсона о возможности свести воедино созданную им модель коммуникативного акта с гуссерлианской теорией феноменологической редукции. Дальше «антипсихологизма» Э.Гуссерля дело не сдвинулось, и последующие поколения сторонников Р.Якобсона этой концепцией пренебрегли.

[5] Строго говоря, на эту связь с другим языком указывал древнегреческий платонизм в его полемике с аристотелевскими представлениями. Если первая система настаивала на важности метафизической идеи (смысл вещи расположен за ее пределами), то вторая – на необходимости познания мира в классифицирующих определениях (смысл вещи – в ней самой). Отсюда – если первая система практиковала мистику и поэтику спекулятивного мифологизма, то вторая – четкость и многогранность логического подхода. Позднеантичные неоплатоники произвели попытку «перебросить мост между идеей и видимостью, чувственным и умозрительным, земным и небесным» [9: 100-101]. Однако, с точки зрения Э.Кассирера, неоплатонический опыт оказался недостаточно последовательным. «Плотин и неоплатоники, – писал он, – пытаются соединить лейтмотивы платоновской и аристотелевской доктрин, но, оценивая эту попытку со стороны возможности построения целостной системы, мы находим в ней только эклектическое смешение разных начал. Неоплатонизм пронизан платоновской мыслью о "трансценденции". <…> Однако в виду того, что неоплатоники одновременно с этим заимствуют аристотелевское понятие развития, им удается смягчить диалектическое напряжение противоположных начал, что было невозможно в рамках платонизма» [10: 69]. Продуктом скрещения стал понятийный гибрид – «эманация».

– иррационалистического рационализма, когда фундамент наиболее рационального отношения к миру усматривали прежде всего в Боге» [11: 20]. Иными словами, конвергенция методов протекала тогда не по принципу разделенности участков культурного текста на самостоятельные локусы и сферы, а по принципу их взаимного проникновения, перетекания, восприятия в качестве двух граней одной медали. Истина являлась главным предметом исследования, и, как отмечает В.В.Миронов, «ее истолкования были столь разнообразными, столь отличающимися друг от друга и даже противоречащими друг другу, что возникала новая проблема выбора из данного количества истолкований наиболее истинного. Это <…> привело к выработке рациональных методов и процедур, позволяющих устанавливать адекватность комментирующего текста божественной истине». И далее: «Когда толкования одного и того же текста противоречили друг другу, использовался <…> "диалектический" аргумент, и право на истину признавалось за всеми» [11: 19]. Августин в «Исповеди» имел все основания говорить о том, что «истиной владеют сообща все, кто любит истину» и что любые доказательно-стройные интерпретации нужно рассматривать как справедливые, хотя и в разных отношениях к всеобъемлющей истине. Частным примером внедрения такой парадигмы может стать традиционное осмысление древнееврейской Торы, согласно которому у нее 70 «лиц». «Это значит, что каждый библейский стих имеет 70 уровней интерпретации» [12: 27], (см. [13]). При этом среди сюжетно-прагматических и мистических трактовок Торы вполне мирно уживаются трактовки числовые. Последние ориентируются на такие детали, как форма букв и их количественный индекс, благодаря чему создаются интересные в логическом плане стратегии аргументации[6].

Следствием нашего анализа не может быть утверждение о необходимости введения «средневековых» методов толкования текста в современную литературную теорию, хотя по факту они присутствуют практически во всех разборах, даже если мы не отдаем себе в этом отсчета. Средневековье – время утверждения особой культуры, связанной с интерпретацией боговдохновенного письменного источника, культуры, которая при внешних перипетиях и трансформациях до сих пор остается внутренней доминантой рефлексивного, хотя и нерелигиозного сознания. В этом отношении, к примеру, «S/Z» Р.Барта как письменный текст включает черты «средневекового» мышления, искусно запрятанного в напластованиях аналитической практики структурализма, о чем подробно, с целым рядом конкретных примеров можно говорить в другом месте. Важнее понять принципы органичного сближения противоположных программ. Тут опыт Средневековья (модели культурного сознания) остается незаменимым, его надо использовать со всеми оговорками и ограничениями, накладываемыми заботой о текущем дне. Исследователи вправе воспринимать Средневековье в качестве мертвого объекта духовного наследия, но вправе также видеть в нем живого субъекта целостного знания, ибо многое из того, над чем думаем мы, уже осмыслялось, притом успешно. Конечно, определенных издержек на этом пути не избежать; вопросов о наглядном механизме верификации меньше не станет. Действительно, можно ли уравнивать в правах индивидуально-авторский текст и текст, имеющий статус демиургической сакральности? Всегда ли возможно совмещение читательского взгляда с писательской интенцией? Ведь продуктивность средневековых толкований с точки зрения методологической конвергентности объяснялась наличием изоморфизма между автором и читателем. Оба они при всей противоположности воззрений на отдельные предметы свято верили в одно, и это не могло не сплачивать их априори, в принципиальном моменте. Как надлежит переносить «средневековую» точность на ныне работающие литературные теории с учетом стереотипов в оценке самого Средневековья? Не произвольностью ли было бы брать одни факты из жизни средневековых идей и замалчивать другие? (Примерно такой упрек филологи обращали М.М.Бахтину, утверждая, что его схема разделения средневековой культуры на «элитарный» верх и «карнавальный» низ не всегда соответствует реальности или что реконструкция античной мениппеи в диалогическом духе является надуманной хотя бы потому, что до нас дошли

[6] Так, Книга Бытия <Бе-решит – «В начале»> начинается с буквы «бейт», которая по начертанию напоминает квадрат без левой линии в движении письма справа налево. Эта буква – вторая в семитском алфавите, следующая за непроизносимой «алеф», которая соотнесена с Богом <Элохим>, чье имя она открывает. (Непроизносимость «алеф» указывает на невидимую природу божественного, его скрытость и чистую духовность). Второй порядок буквы символизирует производность вселенной от ее Творца. <Бейт> как бы отгораживает верх и низ мироздания, то, что существовало «до» него, и открывает в следующих буквах перспективу для семантического наполнения. Кроме того, «бейт» в буквальном переводе означает «дом»: именно громадному жилищу уподобляется мироздание, созданное Богом в акте высокой любви. В то же время три линии в букве «изображают небо, землю и находящегося между ними человека – существо одновременно духовное и физическое» [12: 36].

малосвязанные отрывки текстов этого жанра, не позволяющие говорить о чем-либо с ясностью). Вопросы подобного рода законны. Они придают теоретико-литературным изысканиям черты явного драматизма: на каждый ход мысли есть свой контраргумент. И все же в названном векторе решение проблемы представляется полезным. Во всяком случае, оно исходит не из пассивного отрицания прошлого («было и ушло»), а из опыта поисков в нем содержательного потенциала, который мог бы преодолеть сегодняшние методологические трудности...

* * * * * * * * * *

1. *Лихачев Д.С.* Избранные работы: в 3 томах. – Л.: Худ. лит-ра, 1987. – Т. III. – 520 с. (см. особенно цикл заметок: «Об общественной ответственности литературоведения» <1976> – С. 449 – 453, «Еще о точности литературоведения» <1979> – С. 453 – 457, «История – мать истины» <1979> – С. 457 – 459).
2. *Аверинцев С.С.* Похвальное слово филологии // Юность. – 1969. – № 1. – С. 98 – 102.
3. *Палиевский П.В.* Пути реализма. Литература и теория. – М.: Современник, 1971. – 222 с. (см. особенно цикл статей: «О структурализме в литературоведении» – С. 33 – 52, «На границах искусства и науки» – С. 52 – 56, «Мера научности» – С. 57 – 71).
4. *Живов В.М.* Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // Новое литературное обозрение. – 2009. – № 98. // URL: http://www.nlobooks.ru (дата обращения: 25.03.2012).
5. *Венедиктова Т.* Осенняя эстетика и прагматика // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 105 // URL: http://www.nlobooks.ru (дата обращения: 25.03.2012).
6. *Успенский В.А.* Предварение для читателей «Нового литературного обозрения» к семиотическим посланиям А.Н.Колмогорова // Новое литературное обозрение. – 1997. – № 24. – С. 122 – 245.
7. *Нигматуллина Ю.Г.* Синергетический аспект в исследовании художественного творчества. – Казань: Фэн, 2008. – 92 с.
8. *Пушкин А.С.* Сочинения: в 3 томах.– М.: Худ. лит-ра, 1985. – Т. I. – 735 с.
9. *Ямпольский М.* Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 616 с.
10. *Кассирер Э.* Избранное: человек и космос / пер. с нем. – М. – СПб.: Университетская книга, 2000. – 338 с.
11. *Миронов В.В.* Философия и метаморфозы культуры. – М.: Современные тетради, 2005. – 424 с.
12. *Щедровицкий Д.В.* Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. – М.: Теревинф, 2003. – 1088 с.
13. *Островский А.Б.* Библейская метаистория: семиотико-нумерологический анализ. – СПб.: Нестор, 2004. – 235 с.

ON «PRECISE» METHODOLOGY WITHIN THE STRUCTURE OF CONTEMPORARY THEORETICAL LITERARY SEARCH

R.F.Bekmetov

The article explores the status of the «precise» methodology in the contemporary study of literature, and the prospects of its renewal in specific research projects. The crisis of «precise» programs in the field of theoretical literary discourse is ascertained. Possible ways of overcoming this crisis by distinguishing teaching and scientific tasks are established. The idea of the context of the discussion on «precision» in philology being deeply rooted in history and world-view is put forward. The complexity of philological method convergence in terms of «accuracy» / «inaccuracy» is highlighted. The author believes that the convergence of «differently-natured» methods cannot occur in the mode of plain eclecticism. The necessity of revealing «convergent points» contributes to the dramatic character of the theoretical literary methodology.

Key words: philology, study of literature, «precise» methodology, structuralism, «non-precise» paradigm, convergence.

* * * * * * * * * *

Бекметов Ринат Ферганович – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и компаративистики Института филологии и искусств Казанского федерального университета.

E-mail: bekmetov@list.ru

Поступила в редакцию 12.04.2012